

ЮРИЙ ЛУНИН



ЧЕРЕЗ КЛАДБИЩЕ

РАССКАЗ

Моему отцу и моему сыну

Мальчики во дворе играли в *сифу*: кого осалит грязной тряпкой, тот и будет сифа, пока не осалит кого-нибудь другого.

Один из ребят имел неосторожность угодить тряпкой в плечо самому высокорослому мальчику, который считался и самым сильным. Игроки сразу отбежали на другой конец двора. Обычно сифу принимались дразнить, но рослого не дразнили; никто не хотел стать его мишенью. Впрочем, ребята знали, на кого должен обрушиться его гнев.

Рослый подобрал лоскут с земли и медленно направился к луже. Там он пропитал его грязной водой, потом, взяв за уголки, отнёс в песочницу и извлял в песке, потом опустил в середину тряпки тягучий плевок и сложил её вчетверо. Всё это он проделывал умышленно неторопливо и старательно, давая ребятам время хорошенько проникнуться ужасом. И действительно: каждое его действие сопровождалось их тревожным переглядыванием. Никто не завидовал тому, в кого полетит такая тряпка. Этим несчастливцем был второй по росту мальчик — лет десяти, с круглым, не по-мальчишески красивым лицом. Он стоял в гурьбе ребят, иногда встряхивая головой, чтобы убрать волосы со лба.

Наконец рослый сорвался с места и, отведя руку для броска, побежал на ребят. Один, самый маленький, оцепенел от страха, но рослый не стал его салить, только поднёс тряпку к его носу. Как и предполагалось, ему был ну-

ЛУНИН Юрий Игоревич родился в 1984 году в г. Партизанске (Приморский край). Первая публикация состоялась в 2007 году в сборнике "Facultet: новая литература нового поколения". Лауреат литературного конкурса "Facultet" (2009, 2010). Лауреат российско-итальянской литературной премии для молодых авторов "Радуга" (2012). В 2014 году вошел в лонг-лист премии "Дебют" в номинации "малая проза". Живет в подмосковной деревне Следово.

жен только его обидчик. И вот рослый приблизился к обидчику и швырнул в него тряпку. Бросок был такой сильный, что ребята ахнули. Но обидчик пригнулся, и сифа, пролетев над ним, с чавканьем присосалась к бетонному забору и комично сползла по нему на землю. Ребята несмело посмеялись. Это разозлило рослого, он стал бросать часто, но всё менее прицельно и сильно. А обидчик как будто поймал вдохновение: он увёртывался от “сифы” в прыжке, пропускал её между ног, увиливал от неё, танцуя. Один из его маневров так запутал рослого, что у него заплелись ноги. Он вытянулся в воздухе и упал, больно прочертив боком по песку.

Это было уже не смешно.

Рослый побагровел и с проступившими на глазах слезами, с рёвом понёсся на своего врага. Наверное, в эту минуту он жалел, что в руке его всего лишь тряпка, а не бульжник, которым можно разозлить ему голову. Но ярость ослепила его, а затем быстро лишила сил. Вскоре он уже стоял, оперев ладони в коленки, и тяжело дышал. Точно так же встал невдалеке его противник. Они поглядывали друг на друга без выражения и поплёвывали перед собой, рослый — мастерски, сквозь зубы, а обидчик — по-простому, лишь из подражания рослому.

Рослый взял себя в руки и пошёл на хитрость. Он разогнулся, прошёлся по площадке, заговорил с кем-то, будто решил забыть об игре, и вдруг пулей подлетел к противнику, швырнул в него тряпкой в упор и что было силы рванул прочь. Но противник умудрился поймать “сифу” на лету и моментально вернул её рослому в спину. После этого рослый перегорел окончательно. С деланным равнодушием бросив тряпку на землю, он вышел из игры. Теперь ему нужно было поддержать свой авторитет. Для этого он легонько побил кого-то из мелкоты, после чего деловито занял ребят новой игрой.

В это самое время из подъезда пятиэтажки вышел невысокий мужчина в кепке и старом плаще до колен. В руке он держал два ведёрка — побольше и поменьше. Среди мальчишек он отыскал глазами своего сына, негромко свистнул ему и пошагал со двора с какой-то усталой заботой на лице.

Обидчик показал ребятам ладонь.

— Пока, пацаны, — сказал он и спортивной трусцой побежал за отцом.

Рослый не растерялся. Приказав ребятам вести себя тихо, он подкрался к врагу, хлестнул его наотмашь тряпкой по затылку и отбежал.

— Вот ты и сифа! — показал он пальцем, схватился за живот и, согнувшись в коленях, выдал из себя смех. — Ха-га-га! Фу-у, сифа! Сифак! Прямо в голову сифу получил! Сифозный! Сифандёс!

Сын постоял, задумчиво глядя то на тряпку, валявшуюся на песке, то на рослого, и, кажется, слёзы начали потихоньку зреть в его глазах. Но вдруг он махнул рукой и быстрее побежал догонять отца. “Си-фа! Си-фа!” — кричали ребята вдогонку.

Отец на ходу протянул сыну дождевую курточку и кепку. Сын оделся в лесную одежду и понёс своё ведёрко.

— Плакал, что ли? — спросил отец.

— Да не... — ответил сын, но голос у него дрогнул, и он рассказал отцу про “сифу”. Вместо сочувствия, которое проявила бы мама, отец поставил перед фактом:

— Ты таких ещё знаешь сколько встретишь — у-у-у...

Это, конечно, не обрадовало, но почему-то успокоило сына, словно разговор теперь был не о людской обиде, а о каких-то природных неприятностях: крапиве, укусе насекомого, раскушенной ягоде, в которую, как оказалось, навонял клоп.

Вскоре они, как обычно, подходили к кладбищу.

Кладбище было ровесником леса, деревьев там росло много, и были они такие же высокие, как в самом лесу. Из-за этого кладбище называли лесным. А лес, примыкавший к нему, иногда называли кладбищенским.

Шагая по главной кладбищенской дороге, сын по привычке гулял глазами по именам и лицам на памятниках. Почему-то взгляд останавливался всегда на одних и тех же: Тихонов Тихон Флегонтович, Рабик Зинаида Львовна,

Татихин Леонид Фёдорович... Сын узнавал их, как старых знакомых, но потом дома не смог бы припомнить ни одного имени.

Где-то в этой гуще крестов и ржавых оград затерялась могила его дедушки по отцу, которого он видел только на фотографиях: дед умер, когда ещё отец был ребёнком. По многу раз за лето и осень отец ходил за грибами через это кладбище, но почти никогда не пользовался случаем зайти на дедову могилу. Он не считал, что кладбище — место для общения с усопшими. Он всегда говорил, что общается со своим отцом, просто когда его вспоминает. Делать это можно где угодно, но чаще всего это происходит в лесу.

Переход от кладбища к лесу был нечётким. Люди ежедневно умирали, кладбище росло, росло, и не было возможности оградить его раз и навсегда. Поэтому всегда существовала подвижная полоса, где кладбищенский лес и лесное кладбище год от года не то боролись, не то сливались в одно.

Свежие, ещё не огороженные могилы торчали в глубине леса, поодаль от остальных, взрывами песка и мусорным нарядом венков. Казалось, некто, выходящий на стороне кладбища, нарочно клал некоторых покойников поглубже в лесу, чтобы образовавшийся между ними и остальными промежутком леса заранее присвоить кладбищу. На этом промежутке природа ещё оставалась собой — обильно плодоносил черничник, попадались необыкновенно крепкие моховики, а иногда и подосиновики, — но человек уже чаще всего брезговал этими дарами природы как принадлежащими смерти, а не жизни, потому что впереди, словно часовые в чёрных португезах, зловеще торчали могильные венки.

Кладбище постоянно наступало.

Но и лес не бездействовал: он выбирал забытые людьми могилы, покрывал их малиной, крапивой, утаптывал дождями, так что от них оставались лишь маленькие бугорки, неясно кем — человеком или природой — созданные. И нельзя было быть уверенным, что сладкая ягода, которую ты сорвал на таком бугорке, не напитана хотя бы отчасти мёртвым соком человека. И каждый раз, когда сын заходил в этот лес, он начинал думать о том, что подо всем, подо всем вокруг, в конечном счёте, лежат истлевшие человеческие тела.

Однажды, когда собирали грибы, сын заговорил об этом с отцом.

— Многая еда берётся из земли, правильно? А в земле всё больше покойников, ведь людей постоянно хоронят. Значит, получается, в еде тоже каждый год всё больше... ну, этого?..

Отца не столько испугали мысли сына, сколько обрадовала его рассудительность.

— Слушай-ка, а ты ведь интересную вещь сказал! Действительно, я даже помню, что в моём детстве у всех продуктов был другой вкус.

Потом отец неоднократно пересказывал знакомым и родным эту беседу, всегда показывая рукой высоту от пола:

— Представляете, вот такой вот — и заявляет! А ведь и действительно!..

Кладбище осталось позади, но в каждой лесной кочке сыну мерещилась забытая могила. Он всё ещё шагал по кладбищу, а не по лесу, и никак не мог почувствовать себя в лесу. В лесных ложбинах иногда встречались кучки мусора. Это был и бытовой мусор: банки, бутылки, пакеты, — и кладбищенский: полуистлевшие ленты, обломки деревянных крестов, пучки искусственной хвои, грязные пластмассовые цветы.

Время было не позднее, но на лес наплыли ненастные, тревожно-тихие сумерки. Сыну стало вдруг очень грустно и одиноко. И первый гриб, который он нашёл — польский, — показался ему больным, напитанным смертью, и сын не стал его срезать. А отец нагнулся и с небольшим довольным хрипеньем срезал.

— Что ж ты не берёшь? Отличный полячок. Смотри-ка, и чистенький! Они сейчас, в основном, все червивые. Что ж, неплохо, неплохо.

И, замедлив шаг, отец стал внимательнее вглядываться в лес, иногда наступая на какую-нибудь грязную пластмассовую лилию и как будто не замечая этого.

Сын отвернулся, чтобы скрыть надавившую на его сердце жалость к отцу. Отец так по-детски был увлечён грибами, что совсем не думал о смерти, которая пролегает неподалёку и следит за ним.

Когда-то давно, пару лет назад, сын мечтал во всём опережать, побеждать отца. Когда ловили плотву — от души злился, что отец его облавливает. Когда ходили за грибами — чуть не плакал, если находил меньше отца. Бесился, проигрывая ему в шашки, пропуская от него гол...

Лишь в одном случае он спокойно принимал превосходство отца и даже готов был из соперников перейти в оруженосцы: это бывало, когда они вместе отправлялись по берегу местной реки за священной рыбой — щукой. Плотву и уклейку наловишь в любой день, а щука была другая: отправившись за ней, можно было вернуться домой с пустыми руками. Щука могла оторвать блесну, перекусить леску, она даже пахла не так, как остальные рыбы. Сын обожал её, но при этом побаивался и не решался ловить её сам. Поэтому на время охоты за щукой он с удовольствием отдыхал от постоянной гонки за первенством.

Однажды у отца клонула очень крупная щука — крупнее, наверное, и не клевала ни разу. Ледяная дрожь прокатилась по коже сына, его пальцы согнулись в крючки у самого лица.

— Папа... папочка... давай... давай, миленький... ну... пожалуйста! — поднывал он, будто обращаясь к Богу.

Отец тоже страшно волновался, это было видно, но работал уверенно, сосредоточенно, и сын до слёз любил его в эту минуту.

— Папочка... миленький... хорошенький... ну давай же!..

Отец медленно вывел рыбину на мелководье, между ним и щукой оставалось расстояние в два шага, не больше. Сын видел её в воде, пятнистую, толстоспинную. Она устала от борьбы и затихла, как послушная такса. Ничто не выдавало её боли, её страха перед человеком и желания уйти в глубину.

— Иди сюда, моя хорошая... — сказал отец и потянул к ней руку, слегка отведя для натяга спиннинг.

Вот уже древний морщинистый щучий нос поднялся над водой, вот уже показались зубы в раззявленной пасти, и вдруг она мотнула жёлтым подбородком, дико обдала отца брызгами и исчезла с блесной и куском лески во рту — только тающий изогнутый след поплыл по реке... Отец проводил этот след глазами и ещё с минуту стоял неподвижно на полусогнутых ногах, увязнувших в береговом иле. Запах живой щуки — любимый запах сына — ещё какое-то время жил в воздухе, и лишь когда этот запах испарился, отец выпрямился, таинственно поглядел на сына, достал из кармана коробочку с блёснами и, слеповато глядя в неё, стал перебирать пальцем блестяшки, чтобы выбрать новую блесну.

— Н-да... неплохая была щучка, — сказал через минуту между делом.

Выражение “неплохая щучка” страшно разозлило сына. Зачем строить из себя такого спокойного, когда впору рухнуть на берег и извиваться от горя червяком, кусать землю, выдирать с корнем пучки травы?

Сын отошёл от берега в молодой березняк и там сильно поколотил кулаками берёзу — берёзе ничего, а у него содралась кожа на костяшках и выступила сукровица. Поэтому дальше бить он не стал, а просто упал на колени и заскулил от бессильной ненависти — к берёзе и к щуке, которые были частью одной природы, посмеявшейся над ним.

Затем он вернулся на берег. Отец швырял блесну в то место, где клонула сорвавшаяся щука. Сын понимал наивность этого приёма, но добрых полчаса пронаблюдал за отцом, так же, как и он, надеясь на чудо. Но чуда не происходило.

— Всё, хватит уже, пошли домой, — властно сказал сын. — Что, думаешь, она такая дура, что клонет у тебя ещё раз?

Но отец продолжал швырять.

— Говорил я тебе, что надо всегда брать с собой подсачек! — Тут сын уставил руки в боки и с настоящей ненавистью, искажив лицо и голос, изобразил глупого отца, отвергающего подсачек. — “Не-е-еть, зяче-е-емь? И так достя-анемь”. Ну, и чего ты достал? Ничего ты не достал! — Тут голос у сына задрожал. — Сорвалась — и всё!

Отец быстро глянул на него и снова забросил блесну.

— Пошли, говорю, домой. Хватит тут ерундой заниматься.

— А может, дальше по берегу пройдемся? — спросил отец. От растерянности и чувства вины он согласен был поступить, как скажет сын. — Дойдем до мостика, до камышей. Не эту, так, может, другую зацепим? Или окунька хорошего, как в тот раз?

— Да какой теперь окунёк — после такого позора!

— Всё, пошли, пошли, — сказал отец и быстрым движением зацепил блесну за кольцо спиннинга. — А то так и будешь бурчать.

По дороге домой глубокий траур не сходил с лица сына. Отец шагал впереди. Его походка, штаны, куртка, его неизменная военная кепка, весело сдвинутая набок, — всё раздражало сына.

— О! Смотри: жар сидит, — вдруг остановился отец и указал концом спиннинга на огромную стрекозу. Её туловище было раскрашено чередованием поперечных полосок — рыжей и красно-коричневой. Бывали точно такие же стрекозы, только с бледно-голубыми и тёмно-бирюзовыми полосками. Их можно было бы назвать “холод”, но почему-то их тоже называли “жар”.

Жар — осторожная и быстрая стрекоза, поймать её считалось большим почётом. Этот же поддустил отца совсем близко, будто предлагал себя в утешение за щуку.

— Спит, наверное, — сказал отец негромко. — Смотри, какой красавец. Поймать тебе?

— Да пошёл он, твой жар, — буркнул сын и пошагал вперёд отца.

Через несколько минут отец поравнялся с ним и заговорил:

— Сынок, если ты считаешь, что я меньше тебя хотел поймать эту рыбу, то ты глубоко заблуждаешься. Я сделал всё что мог. Как меня учил мой отец, так я и сделал. Просто она сорвалась. Это рыбалка, понимаешь? А не рыбный магазин.

Отец положил руку на плечо сыну:

— Ты не переживай. Сегодня она нас победила — а завтра мы её!

Сын отдернул плечо.

— Завтра понедельник! Теперь только через неделю на эту чёртову рыбалку опять пойдем. И то я не пойду, потому что у тебя всё срывается.

— Ну тогда ладно, — сказал отец. — Я один пойду. Вырастешь — будешь сам ловить, и ничего у тебя не сорвется.

— Ну и буду.

Тут и отец не вытерпел:

— А пока — чтоб я от тебя слова больше не слышал! Иди и сопи в две дырочки!

Отец быстрее пошёл вперёд, а сын снова с раздражением глядел на его штаны, рубашку, военную кепку. Он вспоминал рассказы рослого — того самого, который сегодня осалил его “сифой”. Его папа ездил на рыбалку редко, раза два в год, и рослого с собой никогда не брал. Но он ездил куда-то на Ахтубу, где водятся гигантские сомы и сазаны, а щуку, говорят, и вовсе не считают за рыбу. На такой реке просто невозможно остаться без улова, на ней рыбак чувствует себя успешным, сильным, самодовольным. И именно таким — успешным и сильным, с трофеем в руках и с улыбкой на лице — сын видел в эту минуту папу рослого. А своего отца он жестоко обзывал про себя неудачником, ведь отец не поймал даже ту рыбу, которую считают сорной на Ахтубе...

Отец, пригнувшись, обходил сосну: смотрел, не найдётся ли ещё поблизости польских. А сын глядел на него и вспоминал о тогдашнем походе за щукой. Он часто о нём вспоминал, и всегда ругал себя за своё поведение, но сегодня готов был зарыдать от стыда и горечи.

Как он мог! Надо было обнять отца, надо было сказать ему, что он прекрасно всё делал. Да он, можно считать, что поймал эту щуку, просто леска не выдержала, и это ведь действительно рыбалка, а не рыбный магазин! Ничего, пап! Не в этот, так в другой раз её достанем! Не эту, так другую возьмём. Сегодня она нас, а завтра мы её. И ведь всё равно здорово сходили. Давай попробуем жара поймать?..

Как он посмел обидеть отца! Ведь когда-нибудь отец постареет и умрёт, его положат в яму на этом вот кладбище и забросают землёй. Забросали же всех этих людей, забросали же дедушку...

Сын понял, что больше не хочет быть лучше, сильнее отца. Наоборот, во всём он хотел видеть его превосходство, его силу, его способность жить ещё долго и быть недостижимым для смерти.

Отец нагнулся над семейкой лисичек. В это время сын увидел в шаге от него крупный белый гриб. “Вот и хорошо, — подумал сын, — сейчас он заметит гриб и обрадуется”. Но отец не заметил. Он побросал свои лисички в ведёрко и, довольный ими, пошёл дальше, ударив по грибу сапогом.

— Ну что ж, для начала очень даже неплохо, — сказал отец.

Сын не стал ничего говорить про белый и стал с тревогой наблюдать за отцом. Как он мог не заметить гриб? Неужели он стал хуже видеть? Неужели стареет? Неужели сын теперь грибник лучше него? Ведь ещё пару лет назад отец казался ему настоящим хозяином леса, когда смешно, сказочно настораживался и подзывал к себе сына.

— Чую я, сынок, что совсем рядом растёт какой-то очень хороший гриб, но сам я что-то его найти не могу. Может быть, у тебя получится?

Это теперь сын понимал, что отец просто наводил его на гриб. А тогда он принимал эту игру за чистую монету и начинал ходить вокруг отца, бросая подозрительные взгляды на каждую былинку. И вдруг сердце его забивалось в припадке радости — подосиновик или белый!

— Вот это да! — дивился отец. — Вот это сынок! Я бы ни за что не заметил!

Был у отца и другой фокус. Говорит:

— С меня по дороге кепка слетела, а я забыл поднять. Принеси, пожалуйста. Она во-он там около тропинки валяется.

Уже что-то предчувствуя, сын несётся к кепке стрелой, поднимает её, а под ней — вот это да! — тоже красавец-подосиновик или белый!

— Эх ты, папа, совсем ничего не видишь! — радовался сын, показывая отцу чудесный гриб.

— Старый, наверное, становлюсь, — говорил отец, пожимая плечами, и эти слова совсем не огорчали сына. А сейчас сын подождал, пока отец скроется из виду, и подошёл к грибу. Гриб не был раздавлен, только помят. Сын взял его и побежал к отцу.

— Пап, представляешь, я сбил ногой белый, а так бы я его даже не заметил.

— Что ж ты, — спокойно сказал отец. — Надо повнимательнее.

Он с большим уважением к грибу счистил ножичком землю с ножки и вручил гриб сыну.

Сын не понимал, правильное ли это чувство — жалость к отцу.

Взять, например, того же рослого. Тот, кажется, совсем не жалеет своего папу. Бывает, его папа возвращается с работы, позвякивая гаечными ключами в чёрной сумке, висящей на плече, и присаживается у подъезда на скамейку, чтоб вышить банку пива и выкурить сигарету. Рослый, как только завидит его, тут же бросает игры и бежит с ним боксировать. Метит в живот, в лицо, в пах, и ведь бьёт не понарошку, а всерьёз, хочет сделать отцу как можно больше. Да и отец не даёт ему спуска. Нет-нет да и раззадорит тычком в ребро или в подбородок. Один раз до слёз довёл — своего же сына!

Он не любил эту игру и смотрел на неё издалека с тревогой, а остальные ребята наблюдали за ней с завистливым азартом и в конце концов не выдерживали — обступали скамейку и робко спрашивали, нельзя ли и им попробовать подраться. Папа разрешал, и ребята по очереди нападали на него. Иногда он ловил своей большущей ладонью чей-нибудь летящий в него кулачок и одним круговым движением заламывал маленькому противнику руку. Противник тут же сгибался, едва не чиркая носом по асфальту, и все ребята смеялись, а папа, туша свободной рукой сигарету, спокойно спрашивал:

— Та-ак, а сейчас — как мы выкрутимся? Никак. А всё почему? Потому что удар должен быть быстрым: хоба! — и сразу руку на место.

Потом рослый предлагал:

— Пап, а давай мы с тобой вдвоём, а они все вместе?

Но папа уже ставил на асфальт допитую банку и уходил в подъезд. Ребята обсуждали приёмы, которые он им показал, и пробовали их друг на друге. Сыну это было неприятно и неинтересно, он уходил домой.

В лесу темнело и темнело, как будто небо постепенно смыкало больные глаза. В синеватом сумраке гнездились на земле следы чьей-то забытой жизни: то попадался на пути одинокий кроссовок, поросший мхом, то окровавленные (или испачканные краской?) тряпки, то ржавый остов детской коляски, то рука пластмассовой куклы. Сын глядел на всё это с тоской, которую не мог объяснить. Ему хотелось вернуться в прошлое и просмотреть моменты, когда эти предметы были оставлены здесь. А ещё хотелось узнать, где теперь их бывшие хозяева. Живы ли они? Почему-то казалось, что нет.

— Загадили весь лес, — ругнулся меж тем отец. — Поймал бы — яйца бы поотрывал.

Сын улыбнулся: бодрым, бойцовским словом отец напомнил о жизни в этом тоскливом, говорящем о смерти лесу. И даже какая-то птица, которая прежде молчала, деловито ответила ему с вышины: “Си-тю”. Сыну захотелось, чтобы отец сказал ещё что-нибудь, и вскоре его голос раздался снова.

— О, — спокойно сказал он, глядя куда-то вверх. — Кажется, это они.

Сын поднял голову. На старой берёзе, на высоте нескольких метров, громоздилось целое облако оягт.

— Надо палку длинную подыскать и сбить их, — предложил сын.

— Зачем палку? Палкой мы их сильно повредим, — отвечал отец, не сводя глаз с оягт, как будто без его присмотра они могли спорхнуть с берёзы. — Давай! — скомандовал он вдруг решительно и стал на четвереньки около дерева.

Сын тяжело вздохнул. Ведь это означало, что он должен встать ногами отцу на плечи. Он сейчас как никогда прежде был против этой затеи — топтать отца, который, скорее всего, уже начал стареть.

— Пап, может, не надо?

— Надо. Давай, — произнёс отец откуда-то из корней берёзы, и сын понял, что если откажется ещё раз, отец может и прикрикнуть. Дрожащими ногами он встал ему на плечи. Отец начал подниматься, а сын сосредоточенно вникал в поведение всех его мышц — много ли в них ещё осталось силы для жизни?

— Достაёшь? — спросил отец, став в полный рост.

— Нет. Сантиметров двадцать не достаю. Опускайся, пап, давай всё-таки лучше палку найдём.

— Вставай на голову мне, — не слушал отец. — Вставай, вставай.

— Пап, я не...

— Вставай, я кому говорю! — рявкнул отец, и сына это обрадовало, потому что немного отвлекло от жалости.

Сын поставил на голову отцу трясущуюся ногу, бережно перенёс на неё вес тела и принялся нервно ощипывать берёзу, отбрасывая оягта куда попало.

— Не бойся... Не торопись... — говорил отец, громко дыша. — Не рассыпай далеко...

Наконец, дело было сделано. Отец, красный от напряжения, стряхнул с себя берёзовую труху, поправил кепку и стал, ползая на четвереньках вокруг берёзы, собирать оягта.

Сыну вдруг захотелось подойти к нему и сказать что-то важное. Но отцу было так хорошо среди грибов, что сын боялся нарушить его радость. К тому же, он не знал, с чего начать. На природе они с отцом никогда не говорили ни о чём важном. Точнее, важным становилось другое — грибы, ягоды, рыба.

Дома отец, как правило, маялся. Всё приходилось думать о работе, о деньгах, которых хватит ли на жизнь? Из телевизора постоянно сочилась какая-то вязкая гадость, она обволакивала отцу голову и делала его раздражительным, и отец искал пультом фильмы, в которых один простой и хороший человек объявлял войну сотне плохих и побеждал в этой войне,

ненадолго разрешая все душевные противоречия зрителя. А насмотревшись этих фильмов, отец уже был доволен, что пришло время спать.

Настоящим человеком он чувствовал себя только на природе.

Он любил природу страстно и без лишней романтики. Охотник в нём преобладал над созерцателем. При хорошем клёве он забывался настолько, что держал у себя в губах нескольких извивающихся червей, чтобы, поймав очередную рыбу, не тратить время на поиск нового червяка в банке. В такие минуты бесполезно было что-нибудь спрашивать у него, о чём-то ему рассказывать. Он не слышал. Он пронизывал взглядом таинственную тёмную гладь и напряжённо кивал головой, помогая поплавку поскорее утонуть. Он говорил, что рыбак должен представлять себя рыбой, которую хочет поймать.

Но и созерцатель, несомненно, в нём жил. Ведь любовался же он тогда, после упущенной щуки, спящим жаром. А однажды, когда на кончик его удочки (видимо, приняв её за ветку) сел зимородок, отец застыл и стоял не шелохнувшись, а поплавок всё нырял и нырял от поклёвок плотвы... Когда зимородок, наконец, спорхнул с удочки, отец медленно повернулся к сыну. В его глазах влажно дрожало счастье.

— Сынок, ты видел? Видел его?..

И сыну показалось странным и обидным, что этот человек уже сегодня вернётся в городскую квартиру, где ему так неудобно, где он будет снова считать деньги, ругать начальника, чиновников и, может быть, даже собственного сына, — а всё только потому, что его настоящая душа останется на этом берегу.

Как-то сразу, без прелюдии первых осторожных капель, пошёл крупный дождь; будто кто-то очень долго молчал и вдруг заговорил, спокойно и надолго. Отец предложил встать под ёлку, подождать — вдруг скоро пройдёт.

Лапы у ели начинали расти высоко, но были длинными и спускались почти до самой земли, так что отцу и сыну сразу стало уютно, как в шалаше. Дождь ещё не начал протекать сквозь хвою, и было приятно стоять в сухости и слушать, как он стучит по земле и растениям снаружи.

— Вообще-то, может, и надолго, — предположил отец, послушав, как уверенно, без перепадов шумит дождь. Вдруг его лицо осветилось какой-то хорошей мыслью, и он обнял сына одной рукой. — А ну и что. Грибков-то мы с тобой, сынок, уже успели набрать, правильно?

— Конечно, — ответил сын и тоже вдруг обнял отца обеими руками, и они молча стояли, обнявшись. Такое было между ними впервые. Они знали друг друга уже десять лет, и лишь сейчас дождь привёл их в место, где можно было поступить только так — обняться и стоять. Сын чувствовал, что сейчас отец не думает ни о грибах, ни о работе, ни о деньгах; сейчас он думает о том, что у него есть сын и что это хороший сын. А сын думал об отце и уже не хотел ни о чём важном ему говорить. В его душе ещё жила грусть, но он чувствовал, что эта грусть не кладбищенская, она пройдёт, как проходит дождь.

Отец погладил сына по голове и легко, без горечи, вздохнул:

— Жалко, сынок, что твой дедушка так рано умер и ты его не застал. Сейчас бы он обязательно стоял здесь с нами. Знаешь, как он тоже любил грибы собирать? У-у-у...

— И рыбу ловить?

— У-у-у-у...

И отец не в первый раз рассказал о своём детстве, о рыбалке на тогдашней, ещё такой чистой реке. Сын обрадовался этому привычному рассказу, потому что минута объятий была для него слишком огромной и важной, чтобы длиться долго. Как обычно, он просил отца показывать размеры тогдашних окуней, ельцов, плотвы, и почти что видел между указательными пальцами отца живых рыбок. Они резвились в прозрачной воде, блестящие на солнце и весёлые, как само детство. Сын любил их всем сердцем и благодарил за то, что когда-то они послужили радостью его маленькому отцу и живому дедушке.

Сидя на уроках, он ещё не раз положит свои указательные пальцы на край парты, чтобы снова отмерить ими плотву, ельцов, окуней, которых когда-то ловили отец и отец отца.